

Л. Яновская

Маргарита Глава из книги

Фаустом своего героя Булгаков называет только в черновиках и «разметках» глав (лишь однажды Воланд сопоставляет Мастера с Фаустом: «Неужели вы не хотите, подобно Фаусту...»). Именем Мефистофеля писатель не воспользовался совсем. А вот имя Маргарита для своей героини сохранил.

...С Еленой Сергеевной Шиловской Булгаков познакомился в 1929. Она была женой видного советского военачальника и матерью двух маленьких сыновей. Ей было тридцать шесть лет, она была очень хороша собой, и очарование ее заключалось не столько в чертах лица (красивого лица с чуть косящим разрезом глаз) и даже не в изяществе стройной фигуры (изящество и стройность она сохранила до конца своих дней), а в чем-то другом, что, собственно, и составляет очарование женщины, — в ее манере двигаться и говорить, в ее поступках — не больших, а малых, сиюминутных, в движении ее души...

В 1936–1937, когда прекрасный образ Маргариты уже сложился, ее же освещенный иронией, ее шаржированный портрет тех давних дней внезапно и узнаваемо возник на страницах «Театрального романа»:

«В Филину дверь входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с черно-бурой лисой на плечах. Филя приветливо улыбался даме и кричал: “Бонжур, Мисси!” Дама радостно смеялась в ответ. Вслед за дамой в комнату входил развинченной походкой, в матросской шапке, малый лет семи с необыкновенно надменной физиономией, вымазанной соевым шоколадом, и с тремя следами от ногтей под глазом... “Филя, вы меня совсем забыли, гадкий!” – тихо восклицала дама. “Нон, мадам, энпоссибль! – рявкал Филя. – Мэ ле заффер тужур!” Дама смеялась журчащим смехом, била Филю перчаткой по руке... Я, вдавившись в клеенчатую спинку дивана и закрывая глаза, мечтал... Мне представлялась квартира этой неизвестной дамы. Мне казалось почему-то, что это огромная квартира, что в белой необъятной передней на стене висит в золотой раме картина, что в комнатах всюду блестит паркет. Что в средней рояль, что громадный ков...»

Как помнит читатель, время свободно сдвинуто в «Театральном романе»...

Елена Сергеевна увлекалась театром, и с Художественным у нее были давние, не зависимые от Булгакова связи. Она была очень дружна с Ф. Михальским, которого мхатовцы считают прототипом администратора Фили в «Театральном романе»; ее родная и любимая сестра Ольга Сергеевна Бокшанская (вспомните Поликсену Торопецкую в «Театральном романе») была бессменным секретарем В. Немировича-Данченко. Писателя Булгакова Елена Сергеевна знала задолго до того, как познакомилась с ним (мне говорила впоследствии, что писатель Булгаков поразил ее «Дьяволиадой», поразил «необыкновенностью» своей «Дьяволиады», что запомнила она его с этой повести, вышедшей в 1924).

Их дружба вспыхнула и разгорелась быстро, освещенная ее интересом к его творчеству. Она стала бывать в квартире на Большой Пироговской, с счастливой готовностью писала под диктовку Булгакова своим быстрым, твердым, необыкновенно разборчивым почерком. Потом перевезла на Пироговку свой «ундервуд» и перепечатывала под его диктовку же пьесу о Мольере. (На машинке, как и ее сестра Ольга, Елена Сергеевна печатала с детства: машинка стояла в кабинете их отца — податного инспектора в Риге.) Булгаков был очень открыт перед теми, кого любил. Открыт, уязвим, беззащитен. При ней он очень скоро стал размышлять и сочинять, как наедине с собой.

В 1929 была им написана, правда, неоконченная (а может быть, и не полностью сохранившаяся) повесть с заглавием-посвящением «Тайному другу», предвестие «Театрального романа». Эта повесть начинается так:

«Бесценный друг мой! Итак, вы настаиваете на том, чтобы я сообщил вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно — зачем вам это? И еще: дайте слово, что вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти».

И в тексте это доверительное обращение к женщине «мой друг», «друзжок» встречается не раз. Автобиографическая проза Булгакова обретала адрес: она становилась не исповедью вообще, а исповедью — кому-то...

Елене Сергеевне Булгаков делал подарки, глубоко волновавшие ее: он дарил ей свои автографы, свои рукописи. Их она берегла свято и благоговейно. С тех пор — всегда. Существующий ныне архив писателя Михаила Булгакова (разделенный между Пушкинским Домом в Ленинграде и Библиотекой им. Ленина в Москве, но тем не менее цельный) фактически делится на три периода — на три, увы, неравные части. До 1929 года сохранилось мизерно мало. С 1929 — значительно больше. С 1932, когда Елена Сергеевна стала женой писателя, сохранилось почти все: рукописи, черновики, варианты, деловые бумаги, письма...

Прошло три с половиной года, прежде чем им стало ясно, что жить друг без друга они не могут, что они любят друг друга и что это навсегда. Впоследствии Елене Сергеевне было жаль этих трех с половиной лет, как бы выключенных из ее с Булгаковым двойной биографии. Когда я спросила ее (в одну из самых первых наших встреч), когда она вышла замуж за Булгакова, она ответила так: «Мы вместе с 1929 года».

Они поженились в октябре 1932. Поселились на Большой Пироговской, в его старой и уже ненавистной ему квартире, — в ожидании, когда будет надстроен кооперативный писательский дом в Нащокинском переулке. И только в начале 1934 переехали наконец в эту свою квартиру, последнюю квартиру Булгакова. Младший сын Елены Сергеевны Сережа жил теперь с ними.

Булгаков уже был болен. 1929 год, который в повести «Тайному другу» он назвал «годом катастрофы», оставил свои жестокие следы: писателя изнуряли головные боли и сердечные приступы, потом к ним присоединились страх смерти и страх пространства, в середине 1930-х Елена Сергеевна старается не отпускать его из дому одного. Все это в медицине имеет название: тяжелый невроз. И наследственная его болезнь — гипертония в почечной форме, унесшая его отца в далеко не преклонном возрасте, — вероятно, уже давала себя знать, еще не сознавая, не названная.

Но Булгаков был счастлив в эти годы. И на фотографиях его видно, что он счастлив. Счастлив, несмотря ни на что. Счастлив вопреки всему. С. Ермолинский, часто бывавший в этом доме, пишет: «Дом их, словно назло всем враждебным стихиям, сиял счастьем. А были, пожалуй, одни лишь долги при довольно туманном будущем».

Елена Сергеевна была одержима мыслью вылечить его. Булгаков писал брату в январе 1933: «Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это ни в какой мере не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее». (В романе «Мастер и Маргарита», в котором так часто солнечными зайчиками вспыхивают ее интонации, кажется, запечатлены ее слова, а может быть, и жест: «Я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб. “Я тебя вылечу, вылечу”, — бормотала она, впиваясь мне в плечи...»)

Она храбро взяла на себя ведение его дел. Булгаков писал брату в сентябре 1933:

«Я счастлив тем, что Елена взяла на себя всю деловую сторону по поводу моих пьес и этим разгрузила меня. Я выдал ей нотариальную доверенность на ведение дел по поводу моих произведений. В случае если бы она писала тебе вместо меня, прошу ее сообщения договорные или же гонимые принимать как мои».

На первых порах у нее это не очень-то хорошо получалось. Но эта ее деятельность чрезвычайно нравилась обоим.

Она по-прежнему с радостной готовностью писала под его диктовку пером или на машинке; она обожала его сочинения и умела безудержно хохотать, слушая его устные рассказы — его бесконечно варьирующиеся, непредсказуемые, блестящие фантазмагорической выдумкой и, увы, невозстановимые рассказы-импровизации. С течением времени на дне этих рассказов, как бы на втором плане их, все более накапливалась горечь. Елена Сергеевна звонко смеялась, а в глазах у нее стояли слезы...

Она верила в его гений, и, наверное, это было важно, когда пьесы снимались со сцены и проза укладывалась в «красный шифоньер» и круг друзей становился все уже... «Он классик, он давно классик!» — страстно и яростно говорила мне Елена Сергеевна в начале 1960-х, когда звезда признания Булгакова едва начала всходить. И что-то в этом духе она говорила ему всегда. Мне слышится ее интонация в пьесе «Адам и Ева», в том месте пьесы, где Ева говорит о Ефросимове: «Он гений!» — и Ефросимову: «Ты гений...» И за строками романа «Мастер и Маргарита»: «Она сулила славу, она подгоняла его...» — тоже просвечивает ее образ.

Изменение в семейном положении Булгакова было отмечено его решительным возвращением к сожженному некогда и все-таки живому для него роману. Теперь писатель видит этот роман в совершенно новом его варианте: в роман входит Маргарита; рядом с ней все отчетливей вырисовывается ее безымянный спутник; не Воланд и Иешуа, а Воланд, Маргарита и «Фауст» (с 1934 — Мастер) становятся центром романа; история Иешуа и Пилата оборачивается сочинением героя; сатирическая фантазмагория не уходит, но как бы отступает перед другими, значительными образами. Это уже не «роман о дьяволе». Фактически складывается первая редакция собственно романа «Мастер и Маргарита». Хотя само название «Мастер и Маргарита», как помнит читатель, пришло несколько лет спустя.

Булгаков снова начинает роман с встречи на Патриарших. Помечает тетрадь датой: 1932. Две первые главы написаны его рукой, следующая — «Дело было в Грибоедове», последовательно пятая известная нам редакция главы «Дело было в Грибоедове» — рукою Елены Сергеевны.

Очень мешает писателю текущая работа — срочный договор на повесть о Мольере, служба в театре, экранизации, пьесы... Но всякий раз, едва сбросив с плеч очередную работу, Булгаков с нетерпением возвращается к роману. В августе 1933 пишет Вересаеву:

«В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал мазать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу сам себя! Пусть упадет в Лету! Впрочем, я, наверно, скоро брошу это».

Но не бросает и, кажется, не собирается бросать. Работает порывисто, много, иногда датирует свою работу, и тогда даты идут одна за другой: 29 октября 1933 года, 31 октября, ночь с 31 октября на 1 ноября, 1 ноября, 2-е, 3-е (вверху страницы заметка: «Луна! Проверить луну»), 4-е, 5-е, 8-е... Фантастическое преображение Маргариты, ее встреча с рыжим, известным нам теперь как Азazelло, а тогда его звали Фиелло, ее полет на метле над ночной Москвой, над полями и реками... Не удовлетворяет Булгакова описание этого лунного полета, он уничтожает ряд уже исписанных листов. Шабаш — и снова частые даты: 9 ноября 1933 года, 11 ноября, 12-е, вечер 12-го, 13-е, 14-е, 15-е, 16-е... В июне 1934 пишет П. Попову:

«Я пишу “Мертвые души” для экрана... Потом начнется возня с “Блаженством”. Ох, много у меня работы! Но в голове бродит моя Маргарита и кот и полеты...»

И снова частые даты в рукописи: июль 1934 года, август, сентябрь, октябрь...

«Дописать раньше, чем умереть», — замечает Булгаков на странице, датированной 30 октября 1934. Роман вчерне закончен. Сделан набросок заключительной главы (тогда она представлялась Булгакову в виде двух глав: «Ночь» и «Последний путь»). В 1934,

1935 и 1936 Булгаков переписывает заново отдельные главы и переписшет таким образом большую часть их, прежде чем в 1937, озаглавив наконец роман «Мастер и Маргарита», снова начнет его заново.

На Елену Сергеевну Маргарита оказалась похожей поразительно. Елена Сергеевна это знала, гордилась этим. В своей манере — сдержанно, не подчеркнуто — гордилась. Для нее это был отблеск фантазии Булгакова, оставленный ей на всю ее последующую жизнь, бессмертный след его любви и его необыкновенной личности.

Помню, однажды она вдруг, стоя у притолоки, прочла мне стихотворение Анны Ахматовой «Хозяйка» (я тогда услышала эти стихи впервые), прочла в каком-то удивительном сочетании гордости и насмешливости, не сказав, что стихи посвящены ей, но так, что не узнать ее в этих стихах было невозможно:

В этой горнице колдунья
До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолуния.
Тень ее еще стоит
У высокого порога...

Стихи написаны в 1943, в эвакуации, в Ташкенте, и связаны с тем, что Ахматова поселилась в комнате, в которой до того жила Елена Сергеевна. (Анна Ахматова, очень любившая Булгакова, отлично знала роман «Мастер и Маргарита», неоднократно слушала его в чтении Михаила Булгакова.)

Помню, в другой раз я как-то попала к Елене Сергеевне неожиданно, утром. Она не любила ранних визитов. Но в тот день было какое-то чрезвычайное обстоятельство, кажется, я спешила к поезду, и нужно было какую-то рукопись то ли ей отдать, то ли у нее получить, я позвонила, попросила разрешения прийти и через несколько минут была у нее (звонила из ближайшего автомата). Я была явно нехстати в этот ранний час. В ее всегда идеально прибранной квартире были остатки ночи и сна, сдвинутая ширма посреди комнаты, свернутая постель, начало утренней уборки... Но на хозяйке (ее нельзя было застать врасплох!) стянутый в тонкой талии, изящный рабочий халатик, изящный фартучек, волосы спрятаны под яркую косыночку, на кистях рук очень милые домашние рукавички, вероятно существующие специально для уборки. В руках щетка. Правда, щетиной вниз. И навсегда запомнившийся мне веселый, многозначительный взгляд, который она не забыла бросить на эту щетку...

В. Лакшин рассказывает: в конце 1960-х Елена Сергеевна попросила его, работавшего тогда в редакции «Нового мира», представить ее А. Твардовскому; Лакшин договорился с Твардовским и сообщил ей по телефону, что она может приехать. «Она радостно ответила: “Когда?” — “Да сейчас”. — “Так ждите меня”, — сказала она и повесила трубку... Прошло пять-семь минут. В дверь постучали. Я поднял глаза над версткой... На пороге стояла Елена Сергеевна в весеннем черном пальто, в шляпке с легкой вуалью, изящная, красивая, улыбаясь с порога. “Как?! — вскричал я. — На чем же вы...” — “На метле”, — не смутившись ни капли, призналась она и радостно засмеялась моей недогадливости».

Она играла в эту игру охотно и артистично — с теми, разумеется, кто готов был поймать брошенный мяч. А подлинное сходство было совсем в другом. Оно поражало поминутно, не замечаемое ею, — в интонации, жесте, душевном движении. Оно блеснуло в тот утренний час, когда я застала ее с щеткой в руках, и дело было совсем не в щетке. Но этот фартучек на тонкой талии («Она приходила, и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней...»). Эта ее деловитая домашняя работа, умелая, легкая, без суеты и одышки, полная смысла и даже очарования в ее руках («Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков»). Случалось, дав мне для работы материалы, она садилась рядом — в первой комнате, у тяжелого круглого стола с огромной роскошной настольной лампой — и, «запустив в волосы тонкие, с остро отточенными ногтями пальцы», читала...

Я познакомилась с Еленой Сергеевной в начале 1960-х годов. Она жила на Суворовском, у Никитских ворот, в квартире из двух небольших смежных комнат (окна комнат — на бульвар, окошко кухни — во двор). Чрезвычайно уютной, продуманно, — как все, что она делала, — обставленной квартире, в которой ничто не бросалось в глаза. Пожалуй, только большой портрет Булгакова, ее Мастера, над диваном, на котором она спала. В каждой из этих двух комнат можно было работать. Булгаковский архив тогда находился у нее, она с огромным интересом следила за работой в этом архиве. Иногда, когда с кем-нибудь из гостей у нее был деловой разговор, а другой пришел заниматься, особенно если гости были, так сказать, несочетаемые, в рабочую комнату превращалась кухня. Но и несочетаемых гостей она любила собирать в своей тесноватой и очень уютной кухне. Кормила обедом, поила очень крепким, непременно тут же заваренным чаем или не менее крепким кофе. Легкий круглый инкрустированный столик в кухне отодвигался от стены, сервировался быстро, красиво, просто — как будто сам собой — на глазах у гостей, и за небольшим этим столом помещалось столько людей, сколько было в данный момент в доме. Хозяйка не хлопотала, не суетилась. Ни на минуту не прекращая беседу, расспрашивая или рассказывая, словно бы мельком останавливалась у аккуратной газовой плиты, ее уверенные, легкие руки — левая в яркой кухонной рукавичке — что-то снимали с огня, заваривали, помешивали, разливали, и вот уже, нисколько не замешкавшись, хозяйка сидит за столом, любезная, приветливая, всегда заинтересованная — единственная, — и обыкновенный московский обед превращается в праздник. Это тоже была Маргарита («...зажигала керосинку, и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе»).

Однажды я видела Елену Сергеевну в гневе. Но с тех пор не сомневаюсь, что слова «Я его отравлю!» были ею некогда сказаны на самом деле, и счастье Осафа Литовского, что он этих слов не слышал. (В романе: «Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем, хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского».)

Ее запомнившийся тем, кто знал ее в 1930-е, смех («Маргарита буйно расхохоталась»). Ее чудом схваченный жест («затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли рядом»). Самая ее готовность к игре и шутке («Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслонявший свет, исчезал...»). Все это невозможно было сыграть, повторить, придумать...

(Сколько лет было Елене Сергеевне? Посетители Новодевичьего кладбища, остановившись у надгробия ее и Михаила Булгакова, прочтут, что она родилась в 1893 и умерла в 1970 и, следовательно, прожила семьдесят семь лет; но это тот случай, когда ошибается время; она так и не стала старой, никогда не была старой; сказать, что она выглядела моложе своего возраста лет на двадцать, значит ничего не сказать: женщины моложе ее на двадцать лет подчас бывают гораздо старше; загадку этого феномена она унесла с собой; читателям придется поверить на слово: фотографиям это ее пронзительное очарование запечатлеть не удалось.)

Маргарита в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» стала прекрасным, обобщенным и поэтическим образом Женщины, которая Любит. Этот образ встает над пластом сатирической повседневности романа воплощением живой, горячей любви. Фантастический образ женщины, так вдохновенно оборачивающейся ведьмой, с яростью ее расправы над врагом Мастера Латунским, с ее нежной готовностью к материнству, с этим полетом ее в ночи, когда ей принадлежит все — лунный свет, со свистом омывающий ее тело, зарева пронсящих внизу городов, и колдовство ночной реки, и пляшущие русалки, ведьмы и поющие лягушки. Женщины, которой ничего не стоит сказать черту: «Милый, милый Азazelло!» — потому только, что он заронил в ее сердце надежду, что она увидит своего возлюбленного.

В романе яростью своей наступательной любви она противопоставлена Мастеру. Яростную эту любовь она сама сравнивает с яростной преданностью Левия Матвея, но Левий фанатичен и потому узок, любовь же Маргариты, как жизнь, всеобъемлюща и, как жизнь, жива. Маргарита противопоставлена воину и полководцу Пилату — своим бесстрашием. И беззащитной и могущественной своей человечностью — всеильному Воланду.